

ЮРИЙ  
БУЙДА



# ЮРИЙ БУЙДА

---

Цейлон  
роман



МОСКВА  
2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Б90

Оформление серии *Алексея Марычева*

Автор фото — *Никита Буйда*

В оформлении переплета  
использована иллюстрация *А. Дурасова*

**Буйда, Юрий Васильевич.**

Б90 Цейлон : роман / Юрий Буйда. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 416 с. — (Большая литература. Проза Юрия Буйды).

ISBN 978-5-699-83371-9

Заядлый путешественник Ховский, впечатленный островом Цейлон, по возвращении на родину пытается создать его подобие. Но среднерусский климат не подходит для пальм и оголенных танцовщиц. Мечта о рае на земле заканчивается печально: хозяин повешен, Цейлон сожжен. На его фундаменте возникают сначала приют для душевнобольных, потом тюрьма, а в 1944-м – оборонный завод, который возглавляет один из представителей старинного русского семейства – Андрей Трофимович Черепнин. Он, как и его предшественники, тоже служит мечте. Но знает: если ее не держать в ежовых рукавицах, она может разнести вдребезги всё и вся, как это случилось не раз в истории России. Свое отношение к мечте должен определить и внук Черепнина, подступивший к познанию тайн своей семьи и родины.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-83371-9

© Буйда Ю., 2015  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Э», 2015

Мы похоронили его на Красной Горе, на вершине, в самой старой части кладбища, там, где еще сохранилось несколько десятков надгробий и крестов из черного мрамора — под ними лежали гильдейские купцы, офицеры, погибшие в Новороссии при Екатерине II, под Балаклавой при Николае I и на Шипке при Александре III, священники, чиновники, владельцы фабрик и пароходов, лесопромышленники, скототорговцы, герой белого движения генерал Чернов-Изместьев, мечтатель Арсений Ховской и красный комиссар Ласкирев-Беспощадный, упокоившийся в фамильной гробнице Ласкиревых — потомков византийского императора Феодора II Ласкариса, которые перебрались в Россию более пятисот лет назад, при Иване III, обнищали и растворились в бескрайнем море русской крови...

Мы похоронили его на семейном участке рядом с прадедом Ильей, крепостным крестьянином, а потом прасолом, рядом с дедом Никитой, военным инженером, отцом Трофимом, известным революционером, рядом с родным дядей Тимофеем, известным контрреволюционером, сыновьями-полковниками Михаилом

и Сергеем, рядом с правнуком Ильей и правнучкой Сашкой, рядом с женой Анной и обеими матерями — Елизаветой и Евгенией...

Мы похоронили его при стечении огромного множества народа — тысячи людей собрались у его дома под алым флагом, прошли за его гробом по главной улице под траурные звуки оркестра и поднялись на Красную Гору, чтобы проститься с человеком, который почти семьдесят лет был богом, царем и героем, отцом и хозяином Цейлона, а может быть, и города Осорьина, такой же его достопримечательностью, как Белая башня средневекового кремля, храм Бориса и Глеба, Мансуровское медресе, Батальон, торговые ряды времен Николая I, кинотеатр «Марс» с фигурной крышей, поросшей березками, здание бывшей гимназии Шмидта с кружевными чугунными балконами, водонапорная башня под островерхой крышей с шишаком, Конный рынок, четыре памятника Ленину, главная улица, четная сторона которой носила название Ямской, а другая — Советской, три гранитные стелы с именами сотен мужчин и женщин, погибших на Великой войне, в Афганистане и Чернобыле, памятный знак в честь тысячелетия города, наконец Ящик — военный завод, директором которого Андрей Трофимович Черепнин был почти полвека...

Мы подпевали — уж кто как умел — детскому хору, исполнявшему старинную погребальную песню, и звуки ее разносились над Красной Горой, над древним русским городом:

*Не бил барабан перед смутным полком,  
Когда мы вождя хоронили,  
И труп не с ружейным прощальным огнем  
Мы в недра земли опустили...*

Дом на вершине Цейлона не мог вместить всех, кто хотел бы помянуть покойного, пришлось ставить столы во дворе, в саду и даже на улице.

Куба достала из шкафа парадный генеральский мундир хозяина и повесила его на спинку кресла, в котором любил сидеть Андрей Трофимович Черепнин.

И все, кто собрался за длинным столом в гостиной, могли разглядеть награды Черепнина — звезды Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, множество орденов и медалей.

На моей памяти он никогда не надевал этот мундир. Только по праздникам, уступая требованиям протокола, появлялся на людях в обычном пиджаке с двумя звездами Героя и тремя медалями лауреата Государственной премии.

Старики по очереди вставали из-за стола и произносили прочувствованные речи о заслугах покойного, обращаясь к его мундиру, сверху донизу усеянному наградами и похожему на рыцарский панцирь. Они говорили о его храбрости и твердости, о его мудрости и прозорливости, об энтузиазме и лучших временах, когда генерал Черепнин вел их от победы к победе...

Я сидел за дальним столом в гостиной и вспоминал тот вечер, когда мы спустились на берег реки, туда, где

когда-то была заводская пристань, а теперь там все было завалено металлоломом.

Мы стояли под проливным дождем на берегу реки — дед в куртке с капюшоном, я в промокшей кепке — и молча смотрели на старое железо.

Всюду лежало железо, очень много старого железа, настоящие заросли железа — железа сиротского, обесчещенного, опозоренного, униженного, изувеченного, ржавого, скрученного, рваного, битого, обожженного, мертвого, слипшегося в кучи или разбросанного по всему берегу. Накренившиеся портовые краны, рельсы, тросы, шестерни, контейнеры, гайки, гвозди, шайбы, шурупы, двутавровые балки, листы, швеллер, прутья, трубы всех диаметров, гусеничные траки, электродвигатели, вагонные пары, котлы, чугунные чушки, коробка, бухты колючей проволоки — обломки, куски, огрызки, обрывки — все это, перемешанное с песком, глиной и шлаком, сползло с холма в реку и упиралось в борт затонувшей баржи, вздымавшейся из воды гигантским бортом и частью днища, корявого и дырявого, все это гудело и стонало, громыхало и лязгало под дождем, который всей своей тяжестью падал на землю, на железо, на людей...

Я старался не смотреть на деда — ведь для него все это железо было не хламом, не металлоломом, а неотъемлемой частью его судьбы, его существа.

Внезапно он развернулся и двинулся вверх по склону холма, к дому, при каждом шаге погружаясь по щи-

колотки в шлак, не обращая внимания на дождь и не оборачиваясь.

У ворот его ждала Куба, но он даже не взглянул на нее.

Я едва поспевал за ним.

Он поднялся по лестнице — два марша, двадцать четыре ступеньки — на второй этаж, включил свет — шесть лампочек под потолком и два бра, распахнул дверцы ветхого буфета, налил из тяжелого граненого графина водки, капнул в стакан йоду, выпил залпом, с шумом выпустил жар через хищные ноздри, сел на стул с высокой спинкой, который все называли креслом или тронem, положил на стол руки — левая сильная, грубая, короткокопалая, с твердыми плоскими ногтями, правая потоньше, с длинными пальцами — и опустил веки, погасив звериные желтые глаза и превратив лицо в древнюю маску, состоящую сплошь из глубоких резких морщин, как кора дерева, выросавшего посреди комнаты из дыры в полу и исчезающего в квадратном окне, прорезанном в потолке...

Было слышно, как Куба закрыла ворота, со скрежетом и лязгом загоняя в гнезда три стальных запора — раз, два, три, аминь...

Мне было жалко старика, проигравшего все битвы и потерявшего все, но я не мог найти нестыдные слова, чтобы выразить ему сочувствие.

— Нет, — вдруг сказал он, не открывая глаз. — Так не пойдет.

И так же внезапно замолчал.

Я не понял, о чем это он, но кивнул.

— Только дерево не трогайте, — сказал дед, когда я взялся за ручку двери. — Пусть растет.

Часы в углу пробили одиннадцать, я спустился в Медвежью комнату и лег под одеяло.

Обычно в одиннадцать и старик ложился спать. Укрывался тонким суконным одеялом и замирал, скрестив руки на груди, как изваяние средневекового рыцаря на могильной плите. Вставал в пять, выпивал стакан воды с тремя каплями йода и отправлялся на прогулку. Спускался к мосту, возвращался к дому, снова спускался, опять поднимался, потом завтракал крутым яйцом, бутербродом с медом, выпивал чашку крепкого чая без сахара, садился в старенького «козла» и отправлялся на Красную Гору, по возвращении возился в саду, читал, после обеда спал час-полтора, гулял с Кубой и ее дочерью, пил чай, разыгрывал шахматные этюды — двадцать пять лет одно и то же: в пять подъем, стакан воды с йодом, прогулка, послеобеденный сон, сад, шахматы, и в одиннадцать он замирал, лежа на спине со скрещенными на груди руками, недвижимый и холодный, как камень, отвергнутый земледельцами и строителями...

Так было всегда, но не в тот день.

Всю ночь он просидел за столом в гостиной, не обращая внимания ни на шум дождя, ни на бой часов, ни на холод, ни даже на муравьев, которые ползали по столу, по рукам старика, по его лицу, а в пять утра встал, принял душ, съел ложку меда, выпил стакан воды с тре-

мя каплями йода, начистил до блеска ботинки, надел белую сорочку, вставил в манжеты серебряные запонки с черными агатами, повязал галстук, облачился в строгий костюм с жилетом, достал из сейфа семизарядный офицерский наган с костяными накладками на рукоятке, спустился в подвал, три раза выстрелил в дощатую стену, чтобы проверить, исправен ли револьвер, открыл ворота, вывел из гаража «козла» и уехал.

Рано утром меня разбудила Куба, сунула в руку телефон.

Звонил Федор Федорович Нечаев, доктор, которого все в городе звали по первым буквам имени и отчества — Фэфэ: деда доставили в больницу с сердечным приступом. Он упал на мосту, потерял сознание, и цейлонские мужики на руках отнесли его в приемное отделение.

Доктор Нечаев — высокий, толстый, в костюме с иголки, с пышной седой шевелюрой — встретил меня на крыльце.

— Откуда у него пистолет? — спросил он.

— Револьвер, — сказал я. — Наградной.

— Он Сафьяна убил. — Доктор покачал головой. — Сафьяна!

— Дед?! Убил?!

— Четыре пули в сердце. — Доктор поднял руки и показал четыре пальца. — Наповал.

— Что с ним?

Нечаев вздохнул.

— Уже ничего.

Дед умер не приходя в сознание — остановилось сердце.

Доктор протянул мне ключ, который дед носил на шее как нательный крест.

Ключ был большой, темный, весь в оспинах.

— Это от кладбища, — сказал я. — От ворот.

Фэфэ кивнул.

Мы похоронили деда на вершине Красной Горы при стечении огромных масс народа.

После смерти деда я стал совладельцем дома на Цейлоне — единственного, наверное, дома на сотни километров вокруг, над которым развевался красный флаг, дома, насквозь, от подвала до крыши, пробитого огромным деревом, — и хозяином старого кладбища со всеми его помещиками и их рабами, с офицерами и монахами, купцами и комиссарами...

# 1

Прадед Андрея Трофимовича, Илья Ильич, крепостной крестьянин, выкупился с семьей у помещика еще до великого освобождения, был прасолом, дед получил образование и стал инженером на пороховом заводе купца Авдеева, а отец, Трофим Никитич, преподавал прикладную химию в старших классах Осорьинского народного училища. Жили они в просторном двухэтажном кирпичном доме, стоявшем между Мансуровским медресе и церковью Бориса и Глеба.

Трофим Никитич окончил реальное училище, побывал с отцом в Европе, в Германии и Англии, работал мастером на пороховом заводе, потом в народном училище, был толстовцем, но вскоре разочаровался в «христианстве, лишившемся клыков и когтей» и организовал в Осорьине социал-демократический кружок. Участниками этого кружка были рабочие и мастера порохового завода, железнодорожных мастерских, электрической фабрики Кнудсена, ткачи, учителя, гимназисты, а также несколько молодых женщин с неудовлетворенными художественными потребностями.

Трофим Никитич часто ездил в Москву и Петербург — там он и познакомился с Плехановым, Мартовым, Лениным, Троцким и другими революционерами.

Он находился под надзором полиции, но до тюрьмы или ссылки дело не дошло — случилась Февральская революция, а затем и Октябрьская, и преподаватель народного училища стал фактическим диктатором уезда.

В 1919 году он с ополченцами успешно сдерживал на подступах к Осорьину денкинцев до подхода частей Красной армии, а в 1920-м руководил подавлением крестьянского восстания, которое возглавлял его родной брат Тимофей.

Вскоре после завершения Гражданской войны Трофим Никитич стал директором национализированного Авдеевского порохового завода. Во время Великой Отечественной, в 1942 году, германская авиация в пух и прах разбомбила завод. Восстанавливать его не стали — все силы были брошены на борьбу с немецкими войсками, подошедшими вплотную к городу и остановленными у подножия Цейлона.

Потом Трофим Никитич — тогда он был председателем райисполкома — отстраивал Осорьин, возводил из обломков разбомбленных церквей и монастырей жилые дома, школы, рабочие общежития и магазины, прокладывал водопровод. В середине пятидесятых ушел на пенсию, умер в середине восьмидесятых, немного не дотянув до ста лет.

Огромный, костистый, с седыми прядями до плеч и лошадиными прокуренными зубами, горластый и красноносый, он очень много читал, очень много курил, очень много гулял по окрестностям, любил выпить крепкого и менял женщин почти до самой своей кончины, выбирая при этом тех, кто помоложе, «поискристее».

Когда родители ссорились — а это случалось часто, и ссоры у них были затяжными, — меня отправляли либо к деду Андрею на Цейлон, либо к прадеду Трофиму — в кирпичный дом на улице Клары Цеткин, которая когда-то называлась Зачатьевской: в конце улицы стоял Зачатьевский женский монастырь. Проезжая часть ее была вымощена булыжником, а по обочинам росли лопухи и дикий цикорий.

Трофим Никитич сурово пресекал попытки своих женщин завести огород или кур и свиней, поэтому тут был просторный двор, поросший лапчаткой и обсаженный липами, с колодцем, с двумя сараями — в одном хранились дрова, в другом стоял верстак с тисками и был сложен инструмент: старик любил поработать руками.

Над крыльцом со стертыми кирпичными ступенями нависал резной полукруглый козырек, который поддерживали два тонких витых чугунных столба. Из захламленной тесной прихожей — старик по привычке называл ее сенями — дверь вела в большую гостиную с почерневшим от времени буфетом, круглым столом и